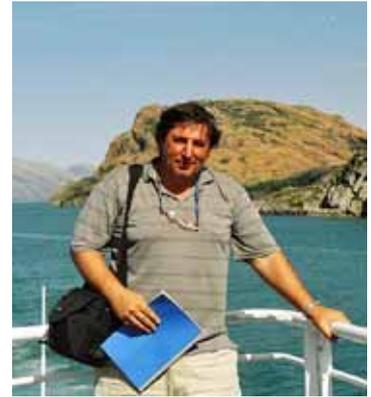


Евгений Плоткин



**Параллельные прямые –
пересекаются**





EUROPE





ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ – ПЕРЕСЕКАЮТСЯ

Преамбула (как все начиналось)

В городе Сан Бенидес, что в Астурии, проводятся необычные соревнования по бегу задом наперед. В них лица участников, тела и даже колени обращены назад – в прошлое. И вот бегу и я. Опасное это занятие, но что с того, мы ведь все немножечко жены Лота... Далекое сейчас не разглядеть, однако отметка 96-го года еще отчетливо различима на дорожке.



Мы сидим втроем на даче Андрея, на 56-м километре Приозерского шоссе. Мы – это Андрей, Таня и я. Мы с Таней сбежали из израильской жары в традиционный летний поход, в родной август, и теперь наслаждаемся легкостью общения со старыми друзьями. Пахнет поздним летом, пахнет запахом нагретого дерева и обжитой дачи. Над речкой – над Вьюном – еще с утра бродили туманы, а сейчас зависло солнце, и светит, и ласкает, и – Господи, как хорошо! Как хорошо, о Господи!

Как хорошо вот так сидеть и болтать, и вздремнуть немного, вытянув ноги на стареньком диванчике. Пятки упираются в стенку, и, прогнувшись, чувствуешь, как меж лопаток похрустывает – не остеохондроз, а что-то маленькое и очень приятное. Лето катится, как еж, выпуская колючки живых нежинских огурцов. Сорвешь огурец с грядки, оботрешь рукой, надкусишь с тупого конца и зажмуришься, мурлыча от удовольствия – мур-мур. Щелк – и неровным изломом обнажается жадеитовая зелень мякоти с интрузиями косточек. В китайском кодексе IX века говорится, что лучший жадеит – нежно зеленый, цвета яблочной кожуры, а вот лучший нефрит – светло-серый, цвета плевка. Дзинь – это прилетел комар и сел на руку, держащую огурец. Бац – и нет комара, но осталось воспоминание о нем. Наверняка Конфуций написал на эту тему сентенцию. Но Конфуций далеко, а гармония – близко. Вот она притаилась в комнате, где-то между круглым столом, тумбочкой, диваном и подшивкой "Рыболова-спортсмена" за былинные годы.

Дача... это наше, родное, исконно-посконное. Русские дали миру само слово, не говоря уже о чувстве, его окружающем. Как-то давно в январе наша дочка сказала, что хочет на дачу. "На дачу? На дачу ездят летом", – ответила Таня. "Ну что ты, мама, на даче всегда лето!"

Но лето уже кончается, и грустно, и свербит. Вспоминай – не вспоминай Козьму Пруtkова и юнкера Шмидта, но лист-то в самом деле – вянет, и свербит внутри что-то гвоздиком, будь оно неладно. Скоро расставаться, разбегаться, разлетаться и ждать. Ох, свербит, зараза! Хорошо хоть не совесть – душа колобродит... Эфемерное ведь создание, а как мучает!



Я рассеянно листаю "Рыболова-спортсмена". Нельзя просто разбежаться после чего-то хорошего, нельзя расхотеться, не сказав "до встречи". Здесь главное – посметь, как у Бродского. Посметь сказать о будущем так, как будто оно твой друг-приятель. Будущее – прошлое, граница так неотчетлива. В сущности, наше настоящее и есть наше прошлое. "Вначале было слово..." – так, кажется? "Вначале было слово, и дух Божий носился над..." – где же его носило? "Носился над водой"... – поехать, что ли, на многодневную рыбалку, с костром, дымком и закатом? Как трудно мечтать словами, а не мыслями. Но очень нужно, поскольку ложь, что мысль изреченная... Но вот дача, и август, и скоро разъезжаться, и куда же мы все соберемся в будущем году?..



За окном – 96-й, шутка Жванецкого "я опять хочу в Париж" еще очень даже звучит. Хорошая шутка, мы с ней выросли, мы с ней жили, она сидит внутри еще глубоко, там, где ни-ни, и не положено, и даже невозможно.

Но как здесь хорошо, на даче, на 56-м километре! "Андрей, а не махнуть ли нам в следующем году по Европе, как по Карелии или как по Золотому кольцу? Снимем машину, возьмем палатки..."

Андрей глядит на меня серьезно, видно, что между глаз засела

мысль, и теперь ее оттуда так просто уже не выковырять. "Где дешевле арендовать машины? В Германии?", – неожиданно говорит он, и чувствуется, как в плавильнях мыслей начинают работать мехи мечтаний. Сейчас надо ловить момент и произносить слова, те самые правильные слова, что рождаются в одnoseкундье, а остаются на года. "Наверное в Германии. Я толком не знаю". "Надо выяснить". "Оттуда в принципе недалеко до Нормандии". "Франция, Германия и Бенилюкс – это Шенген?"

Очень захотелось есть. Страстно. Будто так естественно материализовался волчий голод по совместным дорогам, посеянный еще, наверное, Ганзелкой и Зигмундом.

"Таня, сделай, пожалуйста, нам что-нибудь поесть. Что угодно, очень есть хочется!" Таня смотрит на холодильник без особого энтузиазма. "Осталась только картошка, свиная обрезь, хлеб и огурцы". "Вот и отлично, – говорит Андрей, – поджарим картошку, сделаем шкварки, подтопим жир, будем макать туда хлеб... как денщик Балоун".

Через несколько минут на кухне зашкворчало. У-ууу! Чувствовалось, как лопались пузыри жира, как остатки мяса скручивались хрустящей корочкой, как картошка схватывалась жаром и становилась слегка похожей на мечту о безоблачном мире, где летают феи и эльфы разносят чипсы.

Свиные шкварки, конечно же, не чета куриным, они грубее, но зато ядренее, да и свинья все-таки явно умнее и благороднее курицы. Не понимаю я дискриминации свиней в иудаизме и мусульманстве. Давно пора устроить им 20-й съезд и полную реабилитацию.

Таня принесла кипящую и потрескивающую сковороду с картошкой и салом.

"Так куда можно поехать после Северной Франции?" "В принципе, разумно доехать до Португалии, а оттуда по побережью в Андалузию". "Португалия – это Шенген?" "Шенген, Шенген..."



Макать хлеб в расплавленное сало и поддевать им шкварки – чувственное удовольствие. Хлеб – ржаной, не нарезанный, на сломе ноздреватый и зернистый, и пахнет настоящим хлебом, а не его выхолощенным собратом из универсама. В сало его!.. Ломоть сразу же набухает, жиром подергивается, и вот тут – надо сверху жареной картошечки добавить. И огурцом усугубить, причем огурец тоже не резать – кусать надо.



Однажды наш ленинградский приятель из Дюссельдорфа рассказал, что как-то ехал он в Германии в поезде со своей знакомой. Уж не помню почему, но говорил он с ней по-немецки, а кушал – по-русски. Они достали хлеб, огурцы, закусили. Пожилой немец, что сидел рядом, вдруг спросил: "Вы, наверное, из России?" "Да, действительно, как Вы догадались?" "По огурцам! Только в России огурцы кусают, с верхушки – как банан или яблоко." "Интересно, а откуда Вы это знаете?" "Я там был... долго... с 45-го, пять лет в Казахстане после войны". "Вы,

наверное, много пережили?" "Да-а, но... я был тогда молод, вокруг было много женщин, первая любовь... это было замечательное время!"

Я как-то раз возил по Латвии отца моего немецкого коллеги-математика. Он юрист, приехал к нам из Гамбурга. Под Сигулдой я ему сказал: смотрите, указатель – "Плескава", это "Псков" по-русски. А он отвечает: я знаю, я здесь уже был... Потом добавил совсем просто: мне повезло, меня призвали после школы, в 39-м, в пехоту, шесть лет до конца войны, я выжил. И замолчал. Замечательный человек! Мы сидели потом у нас за столом с ним, с его сыном, с моим отцом, что был на 2-м Белорусском, как раз там, где и отец Рольфа. Сидели, пили-ели, разговаривали – отлично друг друга понимали. Отлично!

...Сковородка как-то незаметно опустела. И очень быстро, кстати. Это называется кураж, его поймать – дорогого стоит. Старатели и игроки хорошо знают: когда кураж есть, его нужно не вспугнуть, а наоборот, подогреть слегка – тогда после куража и фарт может пойти. Таня принесла вторую сковородку. В глазах было скорее удивление, чем укор.

Вторая сковородка улетела вслед за первой, за ней третья, четвертая. Кураж озвученных идей пьянил и требовал пищи – еще, еще, разве можно остановиться, когда шкворчит, и хочется, и может, и вроде пока не скурвились, не окуклились, вроде еще глаза нормальные и взгляд прямой, и тройки-двойки, партпрофкомиссии всякие сгнули на время – так ловить это время надо, как мотылька-однодневку...

Таня сказала, что человеку столько не съесть, а если съесть, то не выжить, поджарила остатки и прекратила этот свино-картошечный разгул. Но мы выжили. Дело было сделано, слово сказано, и дух Божий носился над водою.

Прошли годы, но не прошло удивление от нашего первого совместного заграничного автопохода. Я сижу, как реб Арье Лейб, и говорю: ущипните меня, неужели все это было, неужели мы это сделали? Вот параллельные прямые, они не пересекались тысячи лет – и ничего, нормально, никому это особенно не мешало, скорее наоборот, если уж сказано – параллельные, значит будьте любезны, всем – стоять шеренгами, слушать песню "Не плачь, девчонка": заказывали – слушайте, а не заказыва-



ли – так учите, чтоб знать, что заказывать. Параллельные – это значит параллельные, это значит никогда этим прямым не пересечься, сколько ни беги, а если когда-нибудь они пересекутся, то они не совсем параллельные, а не совсем – значит, что они совсем не, а следовательно можно, что нельзя, а если можно – Господи, а это можно?! – то время пришло.

Европа-97, десять тысяч километров по пяти странам

На следующий, 97-й год, мы проехали десять тысяч километров по Европе. Сейчас кажется – ну что, проехали так проехали, обычное дело. Таково свойство памяти – стирать чувства. И правильно, иначе жить как-то очень сложно. Кто сейчас помнит, как все это было впервые? Сначала пускали в Болгарию, с боем, с нервами, но все-таки иногда пускали – "Куряца не птица, Болгария не граница". Потом все спрашивали: ну, как там, в Болгарии? В Болгарии было хорошо, и главное – немного по-другому. Солнечный Берег, Золотые Пески, джинсы, кроссовки, синее-синее море. Потом полагалось повышать градус зарубежных поездок и к пенсии иметь послужной лист из демократов и – вдруг повезет – одной капстраны. Но это событие уже жизненного масштаба, почти эпическое, о нем внукам рассказывать: привезли нас в Вену... Казалось бы, изменилось все к 96-му, но ум еще не верил, боялся верить, что кусочек бытия, на котором, как в музее, с самого начала было написано "руками не трогать", а иногда просто и понятно "не влезай – убьет", оказался на самом деле простым, как гвоздь, понятным, как таблица умножения, доступным, как... интересно – что? Глаза боются, а руки, как известно, делают.

Мы договорились встретиться в 12 часов на вокзале в Кельне, у информации. Все должны были приехать из разных мест: Рита – из Ленинграда, Галка – из Тюмени, Андрей – из Чикаго, ну а мы – из Лондона. Идея была хорошая, но на автобус Лондон-Кельн мы опоздали. В 22.30 жизнь в Альбионе прекращается, последний автобус уходит на континент, а последний троллейбус все еще кружит по Москве. Вот это жаль – пассажиров бы у него в Лондоне было!.. Автобус на Кельн ушел за 4 минуты до нас, ровно по расписанию. Так английские автобусы обозначают пунктуальностью голубизну своих кровей. И в самом деле, ведь от их конюшни – Виктории Стэйшн – до конюшен Букингемского дворца рукой подать. Дальше было в точности как в "Трех мушкетерах" – какой-то подкидыш в 2 часа ночи до Дувра, туман, меловые скалы и упорное движение на чем попало в сторону Франции, Кале, поезд до Лилля, не помню, что там было еще – Гент, Брюссель, Аахен – но опоздали к месту встречи только на час. Остальные опоздали на 6 часов, и все это время мы их ждали у Кельнского собора. Он здоровенный, темный, тяжелый, очень немецкий, но говорят, что Голдинг написал свой гениальный "Шпиль" именно под его воздействием. (Оказалось, что нет, не под его – Голдинг жил в Солсбери и написал свой роман под впечатлением того собора в Солсбери, который так любил Констебль. Но и неважно, жил бы он в Кельне – написал бы под воздействием Кельнского). Этот "Шпиль" меня когда-то перевернул до основания, я все закрывал глаза и видел уходящую ввысь конструкцию, которая живет своей жизнью, как всегда живет своей жизнью все, устремленное ввысь.

Но "Шпиль" был позднее, а до этого – "Повелитель мух", как антитеза роммовскому фильму "И все-таки я верю". Верю - не верю, любит - не любит... как-то страшно было, да, пожалуй, так и осталось. А загадочный "повелитель мух" оказался Вельзевулом. Имя этого библейского персонажа переводится с иврита как "Бааль-шель-звув" – Вельзевул. "Баал" – хозяин, господин, ну а "звув" – муха. Слово "баал" пришло из Финикии, и было оно именем главного финикийского бога – Ваала. Многое из того что в русском языке на "бал" начинается, родом из Финикии: балагула, балаган, балбес. Евреи когда пришли в Ханаан и встрети-



ли финикийцев с их Ваалом, чужого бога невзлюбили и прозвали его презрительно "баалем-звув" – "повелителем мух".



Кельн был началом нашего европейского кольца. Ночью мы умчались во Францию, длинный перегон (800 километров) привел в Мон-Сен-Мишель, чей запоминающийся силуэт давно уже стал одним из символов страны. Удивительное, конечно, творение, этакий кристалл совершенных форм на фоне неяркого Нормандского неба. Или это уже Бретань, где так любила отдыхать русская эмиграция?

Бунин, Шаляпин, Бенуа – наверное, все искали здесь ностальгические краски привычной палитры. Ненадолго съездить к себе самому, шкуркой о что-то юношеское потереться, и снова в Париж – жить и работать, как Тургенев когда-то. А иначе – тоска, та еще птица, может лишь клюнет слегка, а может и загрызть – кому как повезет.

*Ночь ледяная и немая.
Пески и скалы берегов.
Тяжелый парус поднимая,
Рыбак идет на дальний лов.*

*Зачем ему дан ловчий жребий?
Зачем в глухую зыбь зимой
Простер и ты свой невод в небе,
Рыбак нещадный и немой?*

*Свет серебристый, тихий, вечный,
Кресты погибших. И в туман
Уходит плащаницей млечной
Под звездной сетью океан.*

Я смотрел на пробегающие за окном машины виды. Темновато. Но как-то по-другому, чем в России. Приглушенные страсти бунинских темных аллей сюда не вписываются. Наверное, потому Бунин и хотел вернуться. Тоже выход. А Ван Гог бежал отсюда в Прованс, и там солнце окончательно овладело его безумной душой. Гоген пошел еще дальше, поскольку мог себе это позволить. Иногда так хочется поступить по-гогеновски... Малодушные, конечно, да и глупость, какой-нибудь вариант картины "Здравствуйте, господин Гоген" обязательно приключится.

Бретань и в самом деле обладает особой притягательностью. В ней нет южной суетливой красоты, но нет и северной холодности. Во Франции любят женские аллегории национального сознания. Тогда Бретань – красивая, крепкая, сероглазая, толстокосая дева, которая при случае может превратиться в буйную



орлеанскую. Но пока нет войны, она занята хозяйством. А за окном – море и темные силуэты часовенок на фоне скалистых бухт...

В большинстве случаев бретонский парафраз знакомой природы вылечивал русскую эмиграцию. Видно, не было у них ван гововских проблем и их гогеновских решений.



Следующее утро в небольшом городке под Шербуром было ранним и солнечным. Замечательное утро, под стать музыке Леграна к "Шербурским зонтикам". Па-ру-ра-а-ра-а ра-ра, па-ру-ра-а ра-ра, встал туман над замком Баллерой, па-ру-ра-а-ра-а ра-ра, па-ру-ра-а ра-ра – проехала-проплыла женщина на велосипеде. Шесть утра, куда может ехать на велосипеде французская женщина средней красоты в самом расцвете лет? Па-ра ра-ру, па-ра ра-ру, па-а-ру-рам – ну конечно, у нее на багажнике плетеная желтая

корзина, она едет за утренним хлебом, за длиннющим багетом, за французской булкой с хрустящей корочкой.

В 63-м Хрущев учинил в стране недород белого хлеба. Это ботаники пусть думают, что недород бывает у пшеницы, Никита Сергеевич отлично сумел извести готовый продукт. Но лучшее всегда было детям, и у нас во втором классе английской школы выдавали на полдник французские булочки с молоком. Вот тогда я и запомнил, как они пахнут и как одним движением можно оторвать поджаристую верхушку и хрупать ее с пятью чашками молока. Это не воспоминания голодного военного времени, это просто детские чувства, вроде таких маленьких, лучистых блесков. Я тягал эти булочки домой брату, у него как раз резались зубы, он уже погрыз всю полировку на книжных стеллажах и примеривался к моей шее.

Ша-бода-бода – ша-бода-бода, на женщине была широкополая шляпа, совсем как на картине Ван Донгена. На углу оказалась булочная, и, затормозив у крыльца, она дернула входной колокольчик. Дверь открылась, я просто не мог не войти следом.

"Бон жюр", – сказала продавщица, и что-то еще добавила по-французски. Я улыбнулся, потому что если не понимаешь, то лучше улыбаться. Конечно, она интересовалась, что мне хочется купить в этот утренний час. Я хотел объяснить ей, что ничего особенного мне не надо, что мне просто приятно смотреть на нее, на булки в корзинах, на женщин – в шляпках и без, на их лица и глаза. Они тоже с утра улыбались, что само по себе было странно и непривычно. Я хотел сказать, что багета я не хочу, то есть хочу, конечно, очень хочу, но денег-то у меня с собой нет, откуда деньги, особенно с утра? Но как сказать, если из всего словарного французского твердо знаешь лишь воробьяниновские "же не манж па сис жюр" – "я не ел 6 дней" – а это явно не то, что сейчас требовалось. Поэтому я и улыбался, как Швейк – открытой улыбкой. Вместо того, чтобы спросить "вы идиот?" – продавщица тоже улыбнулась. "Мерси", –



сказал я, потом зачем-то добавил "боку" и вышел на нагревающуюся улицу. Колокольчик над дверью булочной снова звякнул. Это было прекрасно.

Потом по плану смотрели Сан-Мало, со всем его пиратским прошлым, а уж потом еще один перегон – до Биаррица, где так много солнца, бискайского неба и обнаженного женско-

го тела. Совершенство загорелых округлостей ничем не уступает по силе воздействия угловатости Мон-Сен-Мишеля, а к ночи, когда природа берет свое, даже намного превосходит архитектурное чудо.



Испания началась с посещения Лойолы. Это то самое место, где родился первый иезуит. Вид монастыря вводит в тему стремительно и без всякой разминки. Позднее, в Прадо, национальный характер становится яснее и как-то объемнее. Веласкес, Рибера, Гойя, Сурбаран и другие давят с огромной силой, так давят, что не то, что летать – дышать трудно. После Прадо психологически устаешь, плечи болят и голову сводит обручем. Эскориал – безумный дворец безумного Филиппа – лишь усугубляет виденное. Мы

в него не пошли – но залезли на гряду камней напротив дворца, ее называют еще "трон Филиппа". Оттуда тяжелые формы Эскориала кажутся более или менее оптимистическими.

Вслед за дорогой потекла череда бесконечных испанских соборов, монастырей, церквей. Их тяжелые, охряного цвета образы начинают с некоторого момента навязчиво преследовать по ночам. Захочешь отдохнуть, ляжешь, закроешь глаза, а там монастыри – церкви, церкви – монастыри...

Самым красивым в Испании считается собор в Бургосе. Он действительно громадный, но назвать его самым-самым не берусь. Нет в нем изюминки, просто один из породистых представителей целого зверинца.

А вот в Саламанке его невероятных размеров собрат замечателен своей лягушкой. Дело в том, что в Саламанке находится самый старый университет Испании, за время существования которого накопилось множество традиций. Одна из них – искать лягушку на фасаде центрального собора перед сдачей экзаменов.



Непонятно почему, но жабы-лягушки всегда играют положительную роль в народном фольклоре. Послал Иван-Царевич стрелу, ну а там как раз лягушка уже наготове. Не белка, не выдра, не лиса какая-нибудь – именно лягушка желает выйти за него замуж. Считается, что лапки у лягушки похожи на женские, потому она и женщина по своей природе. Не зря их так любят французы, которые толк в женщинах и еде понимают.

А копты изображали лягушек на лампадах – как символ воскресения. Трехлапая жаба с нефритовой монеткой во рту является символом достатка в китайской традиции. Так что если бескорыстно хотеть денег, то следует обзавестись нефритовой жабой и внимательно пересчитать ей ноги – их должно быть три.

Найти лягушку на фасаде саламанкского храма считалось верной приметой, гарантирующей успешную сдачу экзамена. Мы искали долго, тщательно изучая богатейший декор. От земли до неба кучковались святые вперемешку с библейскими сюжетами. Время шло, и если бы экзамен был на носу, то наверняка какой-нибудь вопрос остался на совести безвестно пропавшей саламанкской лягушки. Вдруг кто-то сказал: "Я вижу!" Именно так кричали

"Терра!" после долгого плавания через океан. Лягушка сидела на черепахе как на камне – тихо и благобно. Интересно, если лягушка – начало доброе, хоть и немного греховное, то что символизирует перед экзаменом черепаха? Но лягушка сидит на нем и в ус не дует, время идет – а лягушка сидит. Привыкла, наверное. Найти бы сейчас под нее подходящий экзамен, ведь убежит счастье – ищи его потом, свищи...



После Саламанки мы решили по-соседски засколотить в Португалию. Почему-то казалось, что страны эти похожи как внутренне, так и внешне, ну а разница в языке сводится к замене северного звука "с" на мягкое южное "ш". Ну, например, испанское "буэнос ночэс, сеньор Коста" – "добрый вечер, сеньор Коста" – должно было бы звучать "буэнош ночэш, сеньор Кошта" – и все в таком же нехитром духе. Пришепетывай – и будешь португальцем. Как бы не так! "Don Juan" по-португальски – это "Дон Жуан", как и по-русски, а не какой-то незнакомый испанский сеньор на букву "х". А если сказать португальцу "грациас" – "спасибо", то поймут, но не одобряют, так как "спасибо" у них – "убригадо".

Самое запоминающееся место в Португалии – это собор и монастырь в Баталье. "Баталья" – она и есть "баталия", и действительно, в 1385 году именно здесь произошла грандиозная разборка между португальцами и испанцами. Кастильское войско было, как водится, много больше и сильнее, но португальцы сумели перед решающим сражением качественно и результативно помолиться.

Прием этот не оригинальный, известный еще Моисею и древним грекам, и если уж срабатывает, так наверняка. Аргументы были приведены веские, адресат услышал молитвы и враг бежал. Португалия стала полностью независимым королевством, можно было приниматься за строительство монастыря и собора.

Таких соборов никто никогда не видел. Он освещен не снаружи, а изнутри, и весь сияет, как гигантский костер. Языки пламени вырываются через высокие стрельчатые окна, освещая мавританские формы собора. Желтые лучи бьют через бойницы в южное португальское небо. Хочется войти внутрь, но немного страшно – а вдруг внутри все как обычно: горит электричество, люстры, софиты, просто прожектора – где же тогда место для волшебной сказки и полета фантазии.

Недалеко от Батальи находятся Томар и Фатима. Томар – это замок, хороший, красивый замок тамплиеров. А вот Фатима – совсем другое дело. Считается, что здесь по 13-м числам с мая по октябрь 1917 года являлась дева Мария. По-видимому, в октябре 17-го случилось событие, которое сильно расстроило Деву, и она прекратила визиты. Паломники со всей Португалии еще долго ждали ее появления, недоумевая, почему их больше не любят. Газеты надо было читать...

Мы приехали 14 августа, следы праздника ощущались еще со всей силой. Блуждая по городу, мы выехали к бесконечной площади перед циклопическим санктuariем. Вечерело, было холодно, ветер на-



катывал шальными колючими порывами. По тринадцатым числам здесь собираются до полумиллиона человек, но и сегодня несколько тысяч пилигримов продолжали свой путь к цели. Все вокруг было проникнуто мощнейшим религиозным чувством. В нем не было ни агрессии, ни театральности – лишь одна истовая вера объединяла толпу. Ее присутствие чувствовалось почти физиологически, она пробиралась по хребтине точно к загривку. Пилигримы шли, отмечая свой путь на коленях, горели, колеблясь, свечи, а ветер все шумел в закоулках колоннады. Огромная фигура Христа перед сантуариумом была центром всего психического поля. Люди двигались по эллипсу, и круговое движение начинало засасывать. "Бандерлоги, подходите поближе", – говорил в таких случаях питон Каа. Но здесь как раз все было мирно и положительно заряжено. Тысячи мыслей проносились в голове, просто смотреть, не думая, стало невозможно. Вот это уже нехорошо, перебор эмоций грозил неприятием и усталостью. И мы уехали.



В Португалии есть замечательный национальный парк – Сьерра Эстрела. Это совершенно первозданное плато со своими особыми камнями, растениями и пейзажами. Городки там сонные, время течет в них, как на картинах Дали – вяло и вязко. Замки, церкви, дома – все подернуто жаркой дымкой сухого воздуха. Камни нагреваются до основания, по ним носятся зеленые жароупорные ящерицы. Но и они временами прячутся от солнца в узких расщелинах. Сиеста, на окраинах городков все вымирает, ставни плотно закрыты, ни звука, ни души. Фантастические пейзажи плато покрыты серым маревом. Даже вспоминать об этом жарко, зато как приятно, поскольку пот давно высох, а чувство осталось.

Из Сьерры Эстрелы в Лиссабон дорога идет через Коимбру. Коимбра, несомненно, центр португальской науки, здесь прекрасный университет, институты, академия. Однако в тот момент вся наука была далеко позади, так как – отпуск, свобода, природа, и никаких других мыслей в голове. Дорога идет в Коимбру по гребню хребта, покрытому замечательными серебристыми лесами. Скажи "лес" – и видишь зеленые просторы Карелии или Урала, сосны, Шишкин, его "медве-

ди на лесозаготовках", конфеты "Мишка на севере". Стереотипы... Уезжая в Израиль, я считал, что, может, и будут там какие-то хорошие моменты, но за грибами не схожу никогда.

Стереотипы и невежество. Леса Израиля набиты под Новый год маслятами, а к февралю приходит пора рыжиков. Леса Португалии вспоминаются серебристыми волнами по склонам холмов. По-видимому, их основу составляют серебристые тополи или клены, но ботаника ботаникой, а остановиться и побродить по ним хотелось безумно. Обычное противоречие между программой поездки и открытием чего-то нового и неожиданного. Если бы можно было, как барон Мюнхаузен, запланировать на 12 часов подвиг и занести его в маршрут еще за три месяца до старта – вот был бы совершенный мир. А так – неожиданная красота португальского леса конфликтовала с реалиями длинной дороги, и мы помчались в Лиссабон, оставив посещение леса до лучших времен.



Года три назад эти леса пострадали во время страшной засухи, по телевизору показывали пожары – горели серебристые листья. А израильские северные леса пожгла "катюшами" Хизбалла. Тоже стихия, похуже засухи.



Лиссабон оказался городом, которого за всю его длинную историю постигли две напасти: землетрясение 1755-го года и кучи мусора на улицах примерно такого же возраста. Но нашего человека грязью пугать – все равно, что на медведя с зубочисткой ходить. На самом деле уже одна набережная с башней Белен (Вифлеемской) и памятником великим португальским мореходам создает образ города и моря. Через реку видна статуя Христа, который смотрит по-католически холодно и отчужденно. Его род-

ной брат-близнец более известен как символ Бразилии. Там и фигура побольше, и гора – Каркавада – покруче. В конце набережной расположен красивый белый монастырь иеронимитов. Скорее всего, это тот самый святой Иероним, что, удалившись в Вифлеем, перевел Библию на латынь. В любом случае, белые стены монастыря обещают интереснейшую историю обители. Узнать ее всю мы не успели, но каждый лиссабонец знает, что в ней похоронен Васко да Гама. И все же из всех многочисленных красот города больше всего запомнились фаянсовые фасады домов и дворцов. Стиль этот называется "азуяжу", то есть голубой. Технология и традиция украшать фасады изразцами восходит, скорее всего, к временам мавров. Сейчас трудно поверить, но когда-то ислам нес утонченность и свет науки малопросвещенным европейским монархам. А уж изысканная архитектура ислама с ее витыми колоннами, невесомыми арками и ажурной резьбой по мрамору далеко превзошла мрачноватое средневековое европейское строительство. Особенно сильно диссонанс культур чувствуется в Альгамбре, но и в Лиссабоне ощутимо мавританское наследие.

Дорога из Лиссабона в Севилью через Евору сама по себе очень примечательна. Но тройка великих андалузских городов Севилья – Гранада – Кордова так мощна, что на время отшибает все, увиденное до них.

Севилья начинается с поиска парковки. Парковочные места пасут темнобровые личности с повадками конокрадов. "Сеньор, парковка стоит 300 песо, я присмотрю за вашей машиной". А если сеньор не заплатит 300 песо, то – что тогда? "Как знаете, сеньор, Севилья полна неожиданностей".



Парковочный севильский бизнес контролируют цыгане, Андалузия их испанская "alma mater". Как-то при переходе из Испании в Гибралтар к нам подбежал мужичок, наклеил на лобовое стекло машины стикер и сказал: сеньор, 6000 песо налог на переход границы, и пожалуйста быстро, очередь подходит. Пока я отупело лез за деньгами, сзади загудели. Смотрю – из машины кричат: гони его, гони. Что, спрашиваю? Не плати, кричат, спрячь деньги. По-английски орут, благо Гибралтар. Как – спрячь, говорю, а налог, а стикер? Правда, нет у нас песет, а сколько это будет в долларах? – и снова пытаюсь заплатить. Мужик задумался, говорит – где-то долларов 30 его устроит. Дороговато, однако! А сзади опять гудят и кри-

чат: гони его, гони в шею – и выразительно показывают, куда именно надо послать мужичка. Сколько стоит переход границы? – спрашиваю уже у англичан. Да нисколько не стоит, бесплатно можно переходить, даром. Оборачиваюсь – нет мужичка, нет стикера, испарились, как сон в летнюю ночь. Оказалось, что торговля несуществующими пропусками в Гибралтар – еще один традиционный цыганский бизнес, и нас лишь случайно не постригли.



Но испанским цыганам можно простить все их мелкие пакости лишь за то, что они создали фламенко. В Севилье, в старом городе, в кафешантанах фламенко – неперенный атрибут вечера. Сколько раз я слышал, что это – ширпотреб, что музыка там пластиковая, а страсть – поддельная, что у танцовщиц на голове красная роза а-ля Кармен, а не настоящий андалузский наряд, что подлинное фламенко – мрачноватое, а не яркое, что вообще сходит в Севилье в кафе на фламенко – это все равно, что по Венеции на гондоле да с серенадами прокатиться – и то, и другое

моветон, для японских туристов, русских золотых мальчиков с прижатыми ушами и брунейских граждан. Может быть, и моветон, может быть... а, плевать, уж очень хочется, как пел Высоцкий.

Туристам положено покупать сувениры, мы купили в Севилье кастаньеты и черно-красную фигурку танцовщицы.

*Танцует в Севилье Кармен у стен, голубых от мела,
И жарки зрочки у Кармен, и волосы снежно белы.*

Кармен со снежно-белыми волосами – это почти как тигр во фраке и с бабочкой. Но Лорка был гений, а гениям все можно. На дальнейшие литературные экскурсии нет времени: надо лезть на Жиралду. Этот минарет посещают все. Подниматься на него удобно, вид сверху – божественный, история башни – умопомрачительная. Вместе с нами карабкалась группа орущих испанских детей мелкого возраста. Ну, что сказать – жалко башню, на аэродроме и то децибел меньше. По сравнению с испанцами российские младшеклассники выглядят немного вялыми, а японские школьники – те просто немые.

По преданию Севилью основал Геракл. Однако вид города меньше всего ассоциируется с мускулами и подвигами. Скорее, есть в нем особая грация, так не свойственная большим городам. Отчасти она связана с Гвадалквивиром и идущим от него теплом. Неисповедимы лингвистические пути, и томное слово "Гвадалквивир" оказалось арабским "Вади-аль-Кабир", то есть Великой рекой. Иногда полезно просто слушать музыку слов, не вдумываясь чересчур глубоко в их смысл и происхождение.

Стоянка на Гвадалквивире нашлась километрах в двадцати от Севильи. Рано утром я высунул голову из палатки – река неслась быстро и бесшумно, над ее желтыми водами поднимались ручейки тумана. Берег был немного вязкий, и пришлось зайти в реку по пояс, чтобы закинуть удочку. Почти сразу взял здоровый карп, потом еще один. Проза жизни, а как приятно! Страсть – она и есть страсть, что под мантилей, что с удочкой в ру-



ках. На следующий день мы съели этих карпов в парке у толедского Алкасара.

В Севилье на берегу Гвадалквивира стоит Золотая башня. Происхождение ее названия точно неизвестно, одни говорят, что она была покрыта золотистыми изразцами, другие – что в ней хранилось золото Нового Света. Я думаю, на самом деле все было гораздо проще. Известно, что напротив Золотой башни, на другом берегу реки, находилась еще одна башня. Между ними таможня натягивала чугунную цепь: есть деньги – проплывай, нет денег – общий привет. Вот испанский народ, веселый, но справедливый, и назвал башню золотой.

С Жиралды открывается вид на Севильский собор. Он чудовищных размеров, мрачный, тяжелый, приземленный. Человек для него – пустое место, и в этом смысле собор вполне отвечает своей исторической сущности. Жаль, не дошла до нас мавританская мечеть, на месте которой он построен. Несмотря на всю внешнюю глыбообразность, в соборе мало воздуха. Зато в избытке тяжелой веры. В одном из нефов стоит на четырех столбах гроб Колумба. Кто в нем похоронен – неизвестно, ведь о Колумбе вообще толком ничего не известно. Неизвестно, родился ли он в Генуе и похоронен ли он в Севилье, поскольку на Доминике, в Санто Доминго, имеется еще одна гробница Колумба. Ну, две – не одна, вернее будет. А Колумб на самом деле просил похоронить его не в земле Испании – вот и покоится свинцовый саркофаг на столбах.

Мы ехали из Севильи в Гранаду, вспоминая романтику А.К. Толстого:

*От Севильи до Гранады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздается стук мечей;
Много крови, много песней
Для прелестных льется дам, –
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь мою отдам!*

Пробежали поля, холмы, невысокие горы. Ничего кровожадного или романтического. Неужели время так меняет настроение пейзажа? Меняет, конечно меняет. Само понятие романтики остается, а песни всегда – новые:

*Красивое имя,
Высокая честь –
Гренадская волость
В Испании есть!
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.*

Комсомольский романтизм Светлова настолько естественно в нас сидит, что не сразу понимаешь, что в общем-то повезло, что могли бы отдать "крестьянам" землю, а власть "народу", были бы под Гранадой колхозы, а на Сьерре Неваде дома отдыха парработников.

Но вот и Альгамбра – и все остальное моментально остается за пределами ее волшебной ауры. Я не понимаю, как выжил этот реликт ушедшей культуры, этот осколок "тысяча и одной ночи", этот ажурный цветок – после всего того, что человечество успело сделать поганого за последние пятьсот лет. Зато я понимаю Вашингтона Ирвинга, его культурный шок и восхищение, его неповторимую "Альгамбру". Все-таки мавританская культура Ис-



пани была настолько прекрасной ветвью ислама, что по злобным законам жанра просто не могла не погибнуть в самом своем расцвете. Пропать между тупоумной архитектурой Реконкисты и мавританской утонченностью представляется в Альгамбре такой глубокой, что ее перейти или засыпать было невозможно. Раз невозможно перейти, то логичнее всего было уничтожить "до основания, а затем..." Знаем, что "затем", проходили. Почему бешеная и фанатичная Изабелла Кастильская, завоевав последний арабский халифат Гранады, не сровняла с землей мавританское чудо Альгамбры? Ведь хотелось, наверное, ой как хотелось. Помнится, она дала обет неумывания до той поры, пока последний мавр не будет изгнан из Испании. Святая женщина... только грязная очень. Что ей мавры? – она о них вообще не думала, святая была; что евреи? – просто иноверцев не любила люто. Евреев изгнали из Испании в 1492 году, после того как выдоили из них все деньги на нужды Реконкисты. Это называется: самим себя освежевать и прямым к обеденному столу – в виде тушки. Правда, крестились многие тогда, дабы не злить святых женщин, особенно если они у власти. Но геноцида все же в 1492 году не было, человеческое безумие еще лишь готовилось к настоящим погромам XIX-XX веков.



Но Альгамбра... Мы подошли к патио, к изящным колоннам, посмотрели потолок, двор, сады Генералифе и, конечно же, личные покои эмира. Эта часть дворца носила имя Львиных покоев – по имени Львиного двора, вокруг которого она формировалась.

Львиный дворик и есть то, что принято называть чудом и совершенством. Кто там был халифом тогда? Омеяды? Насриды? Не помню, не знаю, знаю лишь, что зря испанцы говорят "кто не видел Севильи, тот не видел чуда", настоящее чудо – это Альгамбра.

Выжившие после Реконкисты мавры назывались "мудехарами", тем же благозвучным словом стал обозначаться и архитектурный стиль, сочетающий изящество Востока и основательность Запада. Самый лучший мудехар – в Севилье, в Алкасаре, но и по всей Андалузии его достаточно много. Напоминает он о себе красно-коричневыми лентами орнаментов, мавританскими арками и многочисленными изразцами. В Севилье он мне очень понравился, но после Альгамбры я почувствовал, чем отличается настоящий бриллиант от страза.

Кафедральный собор Гранады, к счастью, закрылся к нашему приезду. Смотреть на могилы Изабеллы Кастильской, Фердинанда Арагонского, Хуаны Безумной, Филиппа Красивого и прочие раритеты испанской истории не хотелось, а хотелось подумать и поесть. Решили поступить в обратном порядке, то есть сначала поесть, а дальше – как получится.

В Гранаде еда – дело святое, а святее всего разнообразные колбаски чуррос, с хересом или шоколадом. Для любителей кошрута существует "жамон иберико", то есть ветчина по-испански. Ее делают из мяса черных свиней Сьерры Невады, слегка подвяливают, подкапчивают, начиняют специями и... жадно пытаются пережевать, что совсем непросто. Но вкусно.

Лет 20 назад издавалась серия книг "Города и музеи мира". Я ее любил и ненавидел. Ну, любил – это понятно, а ненавидел за книгу "Вена". Книга была отличная, чудесная книга, достать ее было невероятно трудно, Вена в ней была живой, далекой и сказочной. По эту сторону сказки была реальность, в которой близкие люди уезжали навсегда. Кто в Израиль, кто в Америку, кто еще куда, но все ехали через Вену, и все – без возврата. Это тогда говорили: "Там плохо, и тут плохо, но зато какая остановка в Вене!" Что я мог сделать? Ну что?! Я зажимал душу гаечным ключом, дарил отъезжающим друзьям "Вену", рисовал им план осмотра города и снова шел по букинистам. А поскольку пророков в своем отечестве

мало, да и те, что есть – Кассандры, то невдомек было, что однажды куплю я эту книгу уже для себя.

Есть в этой же серии книжка "Кордова – Гранада – Севилья", а в ней фраза какого-то поэта о Кордове-Севилье: "Когда хотят продать книги, то везут в Кордову, а когда хотят продать музыкальные инструменты, то в Севилью". Фраза замечательна еще и тем, что в ней спектр жизни укладывается между наукой и музыкой – вот такая жизнь была при просвещенном исламе IX-XIV веков.

Кордовский эмир Абдарахман, внук дамасского халифа Хишама, того самого, что завоевал Палестину и воздвиг сказочный дворец в Иерихоне, как-то посадил в Кордове пальму и написал:

"О, пальма, ты, как и я, чужестранка на западе..."

Фантастика! Будь я эмир, посадил бы березку у себя во дворе вместо пальмы и написал:

"О, береза, ты, как и я, чужестранка на востоке..."

И не было бы между нами, эмирами, никакой разницы, и тысячи лет между нами тоже бы не было. Потому что последний пингвин в Антарктиде ближе и понятнее, чем любой фундаменталист, независимо от мастей и религий. Хочется верить, что Абдарахман и в самом деле был классный парень, а не просто писал стихи. Стихи и Нерон писал. А вот Иосиф Виссарионович стихов не писал, он был более цельным в своей кровожадности, чем рыжебороденький, всех потенциальных Брутов извел на корню, быстро и без лирики.

Кордова переполнена историей. Так, есть в ней место, где еще в IX веке приглашенный из Ирана певец Зариаб организовал институт красоты и представлял календарь мод. Невдалеке находится синагога Рамбама. Меня в нее не пустили, сказали – закрыто, поздно, но чувство было, будто рожей не вышел. Неужели опять пятая графа подвела, как у Мишки Шихмана? Прямо по Высоцкому... Андрей же с его разночинной бородкой и внешностью чеховского персонажа прошел внутрь без проблем и рассказал, как выглядит одна из трех выживших испанских синагог. Довольно скучно, надо сказать, выглядит.

Перед синагогой стоит памятник Раби Маимону. Бронзовый Раби Моше бен Маимон – или, попростому, Маимонич – сидит в чалме и в глубокой задумчивости. У него вид грустного старика Хоттабыча. Видимо, изучение Торы погрузило Раби в печаль, степень которой соответствует глубине его мудрости. Недаром самыми счастливыми всегда оказываются идиоты, о чем и сообщил народу один ответственный товарищ на вершинах галилейских: "Блаженны нищие духом..."

А вот монумента Аверроесу мы не нашли. Жалко. Звали философа Абуль-Валид Мохаммед ибн-Ахмет ибн-Мохаммед ибн-Рошд, и, видно, не хватило места на камне, чтобы все это увековечить. Он перевел Аристотеля, изучал медицину, писал философские труды. Действительно, жалко. Просвещенный еврей сидел бы рядом с просвещенным арабом, и оба спорили бы о просвещенном древнем греке. Это ли не идиллия!





В Кордове самым известным артефактом старины является знаменитая мечеть-собор с тысячей колонн. Собор внутри мечети настолько убогий, что, по слухам, это понял даже Карл-не-помню-какой, построивший христианский храм внутри мавританской святыни. На самом деле, по сравнению с архитектурой этой мечети не только собор, но и весь мир кажется слегка приземленным.

Дорога от Кордовы до Толедо идет через Ламанчу. Названия на карте будят воспоминания и увлекают звучной грассировкой имен

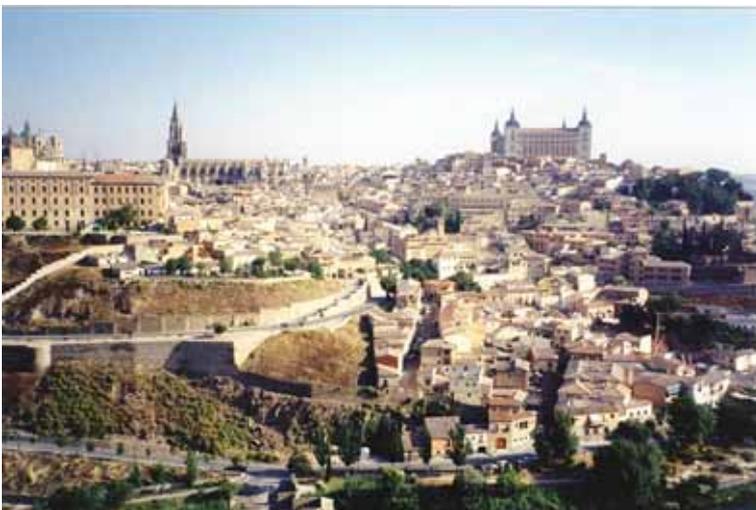
собственных. Слева от дороги, километрах в 80, находится замок рыцарей де Калатрава. Или просто Калатрава, без “де”. Или не замок. Но как звучит – “Калатрава“!.. Как песня. Как

дробь кастаньет. Как “сарабанда” или “сегурия”. Нет, даже круче, как “хабанера” звучит. “Танцевала хабанеру на полях у Калатравы...” – бред абсолютный, а вибрируют слова образами, не так ли? Кто такой “тореадор”? Он не убийца быков, он – “Тореадор, смелее в бой, пам, пам, парам...” Магия слов, или даже точнее – магия звуковых ассоциаций. Назовем извозчика “телегадор” – и это уже не извозчик по имени “никто”, а идальго, и, может быть, даже дон, повелитель телег... Название “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский” – само по себе целый роман, особенно если рядом



с дорогой возникают силуэты десятка ветряных мельниц. Как хотелось поехать там! Как сейчас помню это чувство. Однако надо ехать в Толедо, ведь Толедо – это Толедо. Надо ехать, до него меньше сотни километров. Но там наверняка – туристы, а тут – вот он, рай, все подлинное, все живое, весь пейзаж привлекает, вся Ламанча – как неожиданный подарок!

Не свернули с дороги на Толедо, выдержали характер. Может и хорошо, а может и зря, хоть и бывали там после этого, да вот нельзя два раза вступить в одну и ту же Ламанчу...



Под Толедо живут роскошные зайцы. Мы заночевали в палатках на природе, недалеко от города, на берегу реки Тахо. Зайцы там – как кенгуру, и много их до полного беспредела.

Сам визуальный образ Толедо у большинства людей значительно более стойкий, чем образ других испанских городов. Связано это не только с расположением старого города на высоком холме, а, главным

образом, со знаменитой картиной Эль Греко “Вид Толедо”, или, как ее еще называют, “Вид Толедо во время грозы”. Не знаю, что за гроза случалась в Толедо 400 лет назад, но была она одной из самых лучших гроз, прогремевших на свете. Игра света наложилась на большое восприятие Эль Греко, прилетела муза, и гениальная кисть создала то, что и шедевром-то не назовешь, не придумано еще слов для таких картин. “Натиск восторга...” – говорил в таких случаях Врубель.

Представить, что “вид Толедо” существует на самом деле, было совершенно невозможно. Но, переехав через мост, я стал оборачиваться и смотреть по сторонам, как будто что-то неуютное навязчиво заглядывало через правое плечо. Еще не понимая происходящего, я вдруг увидел, что “Вид Толедо” накладывается на реальный пейзаж, как муар на рисунок.

Мы встали почти напротив города, Алкасар громоздился чуть справа, слева от него освещалась желтым светом игла кафедрального собора. Вся эта анимация пейзажа была подобна чуду, не хватало последнего штриха. Город был уже почти на месте, но вот небо темнело однородным вечерним светом. Вдруг вспыхнули недалекие зарницы, и эль-грековские мотивы заметались по горизонту. А потом они материализовались всполохами праздничного фейерверка – видимо, в нашу честь. Ну, может быть не совсем в нашу, но и в нашу тоже.

Другой шедевр Эль Греко, “Похороны графа Оргаса”, находится в церкви Сан Томе в центре Толедо. Картина – безумная (в хорошем смысле слова), но еще безумнее дорога к ней.



Узкие улицы Толедо идут вверх, едешь – и почти задеваешь стены домов, зазор – сантиметров 10 с каждой стороны. У каждого подъезда стоит дородная сеньора и разговаривает с такой же сеньорой напротив. Одна нога выставлена вперед, халат скрывает внушительные чресла, в руках – живая еще пока курица. Теперь умножим 10 сантиметров на два и вычтем из 20 длину ступни, размер курицы и объем живота – тоже помноженные на два... В результате и получается, что “дорога к храму” много острее, чем сам храм.

От Толедо до Сеговии совсем недалеко. Надо быстро миновать Мадрид, поскольку Мадрид навевает тоску, проехать Эскориал, поскольку Эскориал ее усугубляет, и через час окунуться в интеллигентную атмосферу блистательной Сеговии. Играет негромкая музыка, золотится римский акведук, над ним полная луна, над луной, как ангелы, неспешно парят аисты. Вот где хотелось побыть подольше. Но мы поехали оттуда в Барселону и дальше – во Францию, в Гренобль и через Высокие Альпы на Лазурный берег.

В Монако, около музея Кусто, из моря вышел парень с аквалангом и подводным ружьем. К поясу у него были пристегнуты рыбы – каждого вида по две, как у Ноя: две дорады, два локуса, два дениса. Море шумело искушающе, прибой звучал как токката. Парень оста-

вил акваланг, закинул рыбу в мешок и пошел, посвистывая. Пятки его светились, ветер усилился, и море играло уже фугу. Это был высокий класс. Стоишь в Монако между казино и дворцом Гримальди, море шумит, а парень идет, как Дидель, и свистит. Поймал рыбу, хорошо ему, вот и свистит себе.

В Каннах так жарко, что через 10 минут прогулки язык лезет набок и прилипает к копчику. Никакие фестивали и звездные дорожки не привлекают. Море похоже на бульон, в котором сварили не один десяток отдыхающих. Скорей отсюда. Но куда бежать? Ведь берег-то – Лазурный, жарко и скучно всюду.

Оказывается, есть спасение даже на Лазурном берегу, и зовется оно Массиф де л'Эстерел. Это невысокая горная система, и само название ее высшей точки – Уксусная гора – уже говорит о том, что место это стоящее. Горы покрыты пробковыми дубами с ободранной ниже пояса шкурой. Дубы как дубы, но вместо коры у них пробка, скрывающая ствол цвета шоколада. Под дубами, как грибы, растут бутылки с молодым вином – а если не сезон, то в окрестности всегда найдется шато с преклонных лет виноградником, дающим молодое вино. Хозяйка одной из виноделен была необыкновенно добра и для начала угостила нас вином из самой темной бочки. Настроение сразу улучшилось, жизнь, утомленная солнцем, стала налаживаться. Поговорили о сортах винограда, об истории поместья, о мире во всем мире. Потом купили канистру розового вина и круг сыра.



Выпили еще, и теплая лоза показалась обольстительней прежнего. "Андрей, возьми гроздь в руку, – сказала Рита, прилаживаясь к фотоаппарату и осмещению, – держи ее так, как будто держишь женскую грудь". Андрей приподнял виноград с видом кривошипно-шатунного механизма, обнимающего втулку. Все замерли в ожидании. Мягко щелкнул фотоаппарат, выпорхнула птичка – и время оступилось... "А теперь, – решительно сказала Рита, – сорви гроздь и дай мне!"

Мы разбили лагерь на берегу лесного озера. Ночью кто-то подошел к палатке, шумно дышал, чем-то сосредоточенно чавкал, на "брысь" не реагировал. "Точно не кошка", – подумал я и попытался пнуть гостя через палатку. Зверь отошел, потопал и, видимо, облизав винную канистру, вернулся. Во Франции пьют вино даже животные, а если ты не пьешь, то надо себя заставлять. Спать, когда какая-

то зверюга ходит по лагерю, было невозможно, по крайней мере выпитого было недостаточно. Таня спросила сквозь сон: "Что там?" "Зверь ходит". "Внутри палатки или снаружи?" "Снаружи", – ответил я, хотя до конца не был в этом уверен. "Тогда спи", – сказала Таня.

Утром всех разбудил галдеж, звук горна и лай собак. В принципе горн и собаки по отдельности с утра странных чувств не вызывают. Все-таки были и пионерские лагеря, подъем, "Вставай, вставай, дружок", да и собака соседа страдала утренним недержанием лая. Но вот вместе – это было как-то неожиданно. Я выглянул из палатки и обнаружил массовку к "Королеве Марго": по берегу озера бегали какие-то люди в гетрах и разноцветных охотничьих шапках с перьями. У некоторых были ружья, у некоторых горны, рядом сутилась свора борзых с бубенцами. Чего-то не хватало, но сначала было трудно сообразить,



чего именно. Наконец стало очевидным отсутствие кинокамер и киношников. "Наверное, это сон", – подумал я, и в это время одна из собак так взвыла, будто пробовалась на роль собаки Баскервильей. Вся враз обезумевшая свора рванулась сквозь дубы к кустам, подняв маленького кабаненка. Обсав ночью канистрочку, бедный поросся, видимо, еще не до конца проснулся. Надо отдать ему должное – соображал он с утра значительно быстрее моего, и потому сиганул между дубов со спринтерской скоростью. Вслед за ним умчалась, постреливая, вся толпа. Надеюсь, животное ушло огородами, а люди и собаки получили свою наркомовскую пайку из ближайшего супера.



Из Массиф де л'Эстерел надо ехать к каньону Вердон. Красивее этого каньона в центральной Европе нет ничего. Возможно, это преувеличение, но из тех, которые лишь обнажают сущность. Форелевая река на дне шестисотметрового каньона впадает в озеро невообразимого салатново-бирюзового цвета.



Строго говоря, я видел такой цвет лишь дважды – около скалы Афродиты на Кипре и на Синае. Всюду виноват растворенный кальций – потому и пена морская попушистее, и Афродитам попривольнее. Но думать о кальции, когда видишь Вердон, это все равно что думать о кошках, когда видишь Афродиту.

Дальнейшая часть путешествия прошла под знаком усталости и переизбытка эмоций. Турень – Анжу – Долина Луары: здесь слова и силы кончились, но зорьки с рыбалкой на Луаре, напротив Блуа, были восхитительны. Обобщенная долина Луары родила столько замков, что при легком усилии воображения можно увидеть столетнюю войну и Жанну Д'Арк, или графиню Монсоро, или Леонардо да Винчи, или уроженца этих мест Рабле, а может, воспитывавшегося здесь Бальзака, или Перро, или как раз рядом – это "По направлению к Свану".

18 августа у Андрея день рождения, и в честь праздника ликер "Шамбор" был распит около замка с таким же названием. Купить, что ли, "Тибетскую горькую" для следующего 18 августа, кто знает, где мы ее откупорим... Тут все дело в символах, ведь их бессмысленность достойна их значимости. Так мы и идем по жизни, изобретая "символы" и собирая "эмблематы".

Париж... что там говорить – он всегда стоит обедни! Помимо всех красот, запомнился кемпинг в Булонском лесу, где "вахтер" на вопрос, где ставить палатку, немедленно ответил: "Any place to the right" – "В любом месте справа"; и на следующий вопрос: "Где здесь туалет?" – ответил, не моргнув глазом: "Any place to the right".

Реймс и его поистине королевский собор. Там короновались почти все французские монархи. Несколько неожиданно было то, что они считали себя происходящими из рода Давидова. Как-то это плохо согласовывается в моем сознании с историческим антисемитизмом французской аристократии. Хотя, может они, короли, и правы. Если официальных потомков

Конфуция – миллион, т.е каждый 1000-й китаец, то почему бы королям не быть потомками Давида, или хотя бы чрезвычайно женолюбивого Соломона. Так все запутано что теперь каждый второй – царского рода. Потому кухарки и управляют государством.

В Реймсе очень легко купить хорошее шампанское. И немудрено, ведь Реймс – это Шампань. И к шампанскому птифуров купить несложно. А вот хорошей свинины и сала в реймском супере нет. Все есть, вино де Бержерак есть, цветочек аленький – и тот есть, а картошки с салом не купить. Я не украинец, но чувствовал себя обокраденным в колыбели французской монархии. А купить надо было обязательно – потому что "символы", потому что "эмблематы". И вдруг на обочине появился мясник в мясном магазине, хороший французский свинных дел мастер, и у него была куплена ритуальная обрезь, и картошка нашлась, и масло. Только со сковородкой беда, но все же до Кельна, до расставания, до полной петли – не одна сотня километров, что-нибудь да придумается.



И вот мы прячемся под мостом Рейнбрукке в Кельне, поскольку до поезда остается еще несколько часов и идет гнусный, серый, полуночный дождик. Мы клошарничаем, картошка и сало снова шкворчат на примусе, предвещая новые дороги. Десять тысяч километров по Европе остались позади, десять тысяч... как один день.





